

*Моему другу Конан Дойлу —
человеку с большим сердцем,
большой душой и большим телом*

ПРОЛОГ

Давным-давно — в годы моего раннего детства — мы жили в большом кирпичном доме на длинной прямой улице в восточной части Лондона. Улица была шумной и оживленной днем, но тихой и безлюдной ночью, когда газовые фонари, немногочисленные и редкие, превращались в подобия не столько светильников, сколько маяков и стук колотушки — колотушки полицейского, делающего свой долгий обход, — постоянно то приближался, то удалялся, не считая тех кратких моментов, когда стихал звук его шагов: он останавливался, чтобы потрясти дверь или оконную раму либо посветить фонариком в один из темных проулков, которые вели к реке.

Дом этот обладал многими преимуществами — так говорил мой отец друзьям, когда те начинали недоумевать, что заставило его выбрать такое жилище, и к этим преимуществам, по крайней мере по понятиям моего детского и склонного к меланхолии ума, относилось то, что задними окнами он выходил на древний густонаселенный церковный погост. По вечерам

я часто вылезал из постели, забирался на высокий дубовый сундук, стоявший под окном моей спальни, и сидел, боязливо вглядываясь в дряхлые серые надгробия далеко внизу, гадая, что там за тени бродят меж ними, не призраки ли — перепачканные призраки, утратившие свою природную белизну в силу долгого пребывания в задымленном городе: они покрылись грязью, как и снег, что порою лежал на кладбище.

Я убедил себя в том, что это действительно призраки, и в итоге стал испытывать к ним самые дружеские чувства. Гадал, каково им смотреть, как с надгробий стираются буквы их имен, помнят ли они себя прежних и хотят ли снова стать живыми — или в нынешнем обличье им приятнее. Эта мысль мне казалась совсем уж грустной.

Сидел я однажды ночью и смотрел, и вдруг на плечо мне опустилась рука. Я не испугался, потому что это была хорошо знакомая мне мягкая и ласковая рука, так что я просто прижался к ней щекой.

— И почему мамин озорник не в кроватке? Может, его отшлепать? — Вторая рука легла мне на вторую щеку, и я почувствовал, как мамины мягкие кудри смешались с моими.

— Я, мамочка, просто смотрю на призраков, — ответил я. — Их там очень, очень много. — А потом добавил задумчиво: — Интересно, каково быть призраком.

Мама ничего не сказала, только подхватила меня и на руках отнесла обратно в постель, а потом уселась рядом и, взяв мою ладошку в свою — размером они были почти одинаковые, — принялась напевать своим тихим и нежным голосом, слыша который я всегда решал — по крайней мере на время, — что хочу быть хорошим мальчиком; эту песню пела она мне часто, и больше я ни от кого ее никогда не слышал, да и не хотел бы слышать.

Но пока мама пела, что-то упало мне на руку — я сел в кроватке и тут же посмотрел ей в глаза. Она рассмеялась, но мне ее смех показался странным, надрывным, отрывистым, она же сказала — ничего страшного, а потом велела мне лежать тихо и засыпать. Я устроился удобнее и плотно закрыл глаза; мне было не понять, почему мама плачет.

Бедная моя мамочка, было у нее представление — основанное, безусловно, на врожденной вере, а не на наблюдениях, — что все дети — ангелы, а значит, в некоем ином месте, где вакансий для ангелов куда больше, существует на них колоссальный спрос; соответственно, удерживать их в этом мире — дело трудное и ненадежное. Боюсь, что после моих разговоров про призраков в ее сердце, полном беззаветной любви, поселился мучительный страх — и на эту ночь, и на много последующих.

Много дней после этого всякий раз, стоило мне поднять глаза, я видел, что мама неотрывно на меня смотрит. Особенно пристальным ее взгляд становился за едой, причем во всех этих случаях чем больше ложек я отправлял в рот, тем больше удовлетворения и облегчения читалось у нее на лице.

Однажды за обедом я услышал, как она шепчет отцу (ведь дети отнюдь не так глухи, как кажется взрослым):

— Вроде бы ест он неплохо.

— Ест! — откликнулся отец, тоже полагавший, что говорит тихо. — Если он от чего и умрет, так только от переедания.

Мамочкины тревоги, похоже, улеглись, и с течением времени она, видимо, пришла к выводу, что братья мои ангелы пока что без меня обойдутся; я же, оставив в прошлом ребенка с его фантазиями о призраках, в положенный срок превратился во взрослого человека и перестал верить в призраков, равно как и во многие другие вещи, в которые, пожалуй, верить совсем бы не помешало.

Однако память об этом унылом кладбище, об обитавших там тенях явственно вернулась ко мне недавно, ибо мне показалось, что и сам я стал призраком, блуждающим по безмолвным улицам, по которым когда-то шагал стремительно, преисполненный жизни.

Запустив руку в давно не открывавшийся ящик стола, я случайно вытащил оттуда пыльную, исписанную от руки тетрадь; на драной бумажной картонной обложке было выведено: «ЗАМЕТКИ К РОМАНУ». Надорванные страницы испускали запах далекого прошлого; положив перед собой раскрытую тетрадь, я вернулся мыслями к летним вечерам — не столь далеким, пожалуй, если просто складывать годы, но совсем стародавним, если взять за меру чувства, — когда четверо друзей сидели за одним столом, составляя эти заметки, — но уже не сидеть им более. Я переворачивал измятые страницы, и неприятное ощущение, что я — всего лишь призрак, делалось все сильнее. Почерк был мой собственный, но слова казались словами незнакомца, так что, читая, я удивлялся про себя: неужели я когда-то так думал? Неужели на это надеялся? Неужели рассчитывал это совершить? Полагал стать таким? Так вот какой, значит, предстает жизнь глазам молодого человека? И я не знал, улыбаться мне или вздыхать.

Рукопись эта состояла из разрозненных заметок и была наполовину дневником, наполовину воспоминаниями. В ней заключены были многие размышления, многие разговоры, и именно из нее — отобрав то, что представлялось мне стоящим, присовокупив прочее, изменив и поменяв местами, — я и составил те главы, что последуют далее.

Но прежде я полностью успокоил свою совесть, чрезвычайно щепетильную, на предмет того, что имею на это законное право. Из четырех соавторов тот, которого я буду называть Макшо-несси, уже сложил с себя всяческие притязания на что бы то ни было, кроме шести футов выжженной солнцем земли в африканском вельде; у того, кого я обозначил здесь как Браун, я позаимствовал совсем немного, да и это немного могу присвоить без зазрения совести, поскольку весьма художественно его приукрасил. И правда, разве же, позаимствовав несколько его голых мыслей и приведя их в читабельную форму, я не сделал ему благое дело, оплатив тем самым добром за зло? Ибо он, начав с высоких устремлений юности, шаг за шагом скатывался вниз, пока наконец не превратился в литературного критика — а следовательно, моего естественного врага. Вообразите, он в колонках некоего журнала с большими претензиями, но малым числом читателей назвал меня Арри (без «Г», ехидный мерзавец), а презрение его к изъясняющимся на английском языке основано по преимуществу на том факте, что некоторые из них читают мои книги¹. Впрочем, во времена мебелирашек в Блумс-

¹ Английским кокни, представителям низшего класса в викторианской Англии, свойственно опускать звук «Х» в начале слова, соответственно, «Гарри» («Харри») у них звучит как «Арри»; называя так приятеля, Браун намекает на его невоспитанность и необразованность.

бери и дешевых мест на премьерах мы считали друг друга большими умниками.

От Джефсона есть у меня письмо, со штемпелем захолустного поселения в глуши квинслендского буша.

«Делай что хочешь, дружище, — сказано в нем, — главное, меня в это не вмешивай. Благодарю за твои лестные сожаления по поводу моей несостоявшейся карьеры, но не могу их разделить. Никогда я не годился для литературного поприща. На собственное счастье, я своевременно это понял. Некоторым бедолагам везет меньше. (Я не тебя имею в виду, старина. Мы читаем все твои книжки, и нам очень нравится. Тут, знаешь ли, скучновато бывает зимой, чему только не обрадуешься.) Мне больше по сердцу та жизнь, которую я веду сейчас.

Нравится мне чувствовать лошадиный круп между ногами и солнце на коже. У нас тут молодежь подрастает, за работниками глаз да глаз нужен, за скотом. Тебе это, видимо, представляется очень приземленной и не умственной жизнью, но она согласуется с моей природой куда лучше, чем написание книг. А потом, писателей и так слишком много. Мир столь усердно читает и пишет, что времени думать совсем не осталось. Ты мне, понятное дело, ответишь, что книги и есть мысль, но это только на жаргоне Прессы. Ты бы приехал сюда, старина, и посидел, как

оно случается мне, дни и ночи наедине с бессловесной скотиной на островке вспаханной земли, клином вдающейся в бескрайнее небо, так ты бы понял, что это не так. То, что человек думает — на самом деле думает, — падает в него зерном и прорастает в молчании. А в книгах человек записывает мысли, про которые ему хочется думать: пусть другие думают, что он их думает».

Бедняга Джефсон! А ведь в былые времена он подавал надежды. Впрочем, понятия у него всегда были странные.

ГЛАВА I

Когда, вернувшись домой с посиделок с трубкой у моего друга Джефсона, я сообщил жене, что собираюсь писать роман, она выразила свое удовольствие по поводу моего намерения. Мол, то, что я не подумал об этом раньше, вызывало у нее удивление.

— Ты посмотри, — добавила она, — какие нынче глупые пошли романы; уж такой-то ты точно сумеешь написать.

(Я уверен, что Этельберта хотела сделать мне комплимент, однако ей свойственна некоторая небрежность речи — в результате смысл порой размывается.)

А вот когда я сообщил, что соавтором моим станет мой друг Джефсон, она произнесла «О» с некоторым оттенком сомнения; а когда я далее объяснил, что в написании также будут участвовать Селькирк Браун и Деррик Макшонесси, она откликнулась звуком «О», в котором уже не было ни тени сомнения и из которого было ясно, что ее интерес к этой затее, в практическом ее преломлении, полностью испарился.

Как мне кажется, тот факт, что все три моих соавтора являлись холостяками, по понятиям Этельберты, несколько снижал наши шансы на успех. У нее, понимаете ли, сильное предубеждение против холостяков как класса. Человек, у которого не хватает здравого смысла стремиться к браку, а если хватает здравого смысла, то не хватает смекалки для приведения своих устремлений в жизнь, страдает, по ее представлениям, либо от скудоумия, либо от природной испорченности, причем первое говорит о неспособности, а второе о непригодности к написанию добротных романов.

Я попытался раскрыть перед ней все преимущества нашего плана.

— Видишь ли, — начал я, — в обычном рядовом романе заключены, как правило, мысли лишь одного человека. А над этим романом будут одновременно трудиться четверо умных людей. Соответственно, читатели извлекут из него мысли и соображения всех четверых за ту же цену, какую обычно платят за мнение одного автора. Если британский читатель наделен практической сметкой, он закажет эту книгу заранее, чтобы потом не пожалеть. Вторая такая возможность может не представиться много лет.

Этельберта согласилась, что это весьма вероятно.

— А кроме того, — продолжил я, и чем больше я об этом думал, тем сильнее распалялся энтузиазмом, — наш труд станет выгодным при-

обретением и еще в одном смысле. Мы не станем вкладывать в него обычные бытовые мысли. Мы набьем в один этот роман всю могучую мудрость, какой обладаем на четверых, — если, конечно, поместится. Другой роман мы после этого писать не станем. Собственно, и не сможем, потому что нам не о чем будет больше писать. Это произведение станет своего рода финальной распродажей интеллектуального имущества. Если просто — в этот роман мы вложим все, что знаем.

Этельберта поджала губы и что-то произнесла про себя; после этого заметила вслух, что, по всей видимости, сочинение будет однотомным.

Меня задела ее скрытая издевка. Я указал ей на то, что уже и так существует многочисленная когорта специально обученных людей, которые только тем и занимаются, что отпускают нелестные замечания в адрес писателей и их творений, и, насколько я успел заметить, они вполне справляются со своими обязанностями и не нуждаются в любительской помощи. После чего намекнул, что у собственного домашнего очага литератор рассчитывает на более доброжелательную атмосферу.

Этельберта ответила: я наверняка знаю, что она имеет в виду. Сказала, что думала не про меня и что Джефсон, безусловно, человек вполне разумный (Джефсон обручен), однако она не понимает, почему к этой затее нужно подключать всю округу. (Никто и слова не сказал про «всю округу». У Этельберты такая небрежная речь.)

То, что от Брауна и Макшонесси может быть хоть какая-то польза, ей представлялось смехотворным. Что неисправимые холостяки могут знать о жизни и человеческой природе? Касательно Макшонесси в особенности, она придерживалась мнения, что, если нам вздумается извлечь из него все известные ему сведения, да еще и удастся уговорить его не отвлекаться, весь итоговый текст поместится примерно на одной странице.

Нынешнее представление моей жены о кругозоре Макшонесси сложилось далеко не сразу. При первом знакомстве они прекрасно поладили, и, когда я вернулся в гостиную, проводив его до ворот, первые слова ее были таковы:

— Какой замечательный человек этот мистер Макшонесси. Столько всего знает обо всем!

Это очень точное определение Макшонесси. Он действительно обладает колоссальными познаниями. Сведений в него набито больше, чем в любого известного мне человека. Среди этих сведений есть и достоверные, однако по большей части они отличаются изумительной ненадежностью. Откуда он эти сведения черпает — тайна, раскрыть которую пока не удалось никому.

Когда мы начали вести совместное хозяйство, Этельберта была еще очень молода. (Наш первый мясник, помнится, едва не лишился клиентки на веки вечные, назвав ее «мисси» и растолковав, что именно она должна передать своей

матушке. Домой Этельберта вернулась в слезах. Сказала, что, видимо, совершенно не годится в жены, однако не понимает, почему сообщать ей об этом должны торговцы.) Она, понятное дело, была довольно неопытна в домашних делах, остро это чувствовала и была благодарна каждому, кто соглашался дать ей ценный совет или указание. Когда в нашем доме появился Макшонесси, он в ее глазах предстал этакой миссис Битон¹, только еще многограннее. Он знал все, что нужно знать касательно ведения домашнего хозяйства: от научного метода чистить картофель до лечения колик у кошек, и Этельберта, образно говоря, сидела у его ног и за один вечер получила от него столько сведений, что потом жить в доме было невозможно целый месяц.

Он научил ее разводить огонь в очаге. Поведал, что в нашей стране огонь разводят вопреки всем законам природы, и показал, как это делают в Крым-Тартарии или каком-то другом подобном месте — единственном на земле, где искусство разводить огонь сохранилось в неприкосновенности. Он доказал ей, что, если принять крым-тартарийскую систему, выйдет колоссальная экономия времени и труда, не говоря уж об угле, и тут же растолковал ей, что к чему, после чего Этельберта немедленно отправилась вниз и разъяснила все служанке.

¹ *Изабелла Мэри Битон* (1836–1865) — «образцовая» британская домохозяйка, считается первой «кулинарной» писательницей.

Аменда, наша служанка «за всё», была совершенно невозмутимой молодой особой и во многих отношениях образцовой прислугой. Она никогда не спорила. У нее отродясь не бывало никакого собственного мнения. Любые предложения она принимала без комментариев и выполняла со столь дотошным тщанием и столь очевидным отсутствием любой ответственности за результат, что действовавшие в нашем доме законы сильно отдавали армейским духом.

В данном случае она бесстрастно выслушала во всех подробностях, в чем состоит метод Макшонесси. А когда Этельберта закончила, спросила без затей:

— Вы хотите, чтобы я так разожгла огонь?

— Да, Аменда, и, если вас не затруднит, в будущем всегда разжигайте огонь только так.

— Слушаюсь, мэм, — ответствовала Аменда с полным безразличием, и на том все в тот вечер и закончилось.

Спустившись на следующее утро вниз, мы обнаружили, что стол опрятно накрыт к завтраку, но завтрака на нем нет. Мы стали ждать. Прошло десять минут, четверть часа, двадцать минут. Наконец Этельберта позвонила. На звонок явилась Аменда, спокойная и почтительная.

— Вам известно, Аменда, что завтрак положено подавать в половине девятого?

— Да, мэм.

— А известно ли вам, что уже почти девять?

— Да, мэм.

— Завтрак готов?
— Нет, мэм.
— А будет ли готов когда-нибудь?
— Знаете, мэм, — с неподкупной искренностью отвечала Аменда, — ежели хотите знать правду, то, видимо, никогда.

— По какой причине? Вам не разжечь огонь?
— Да разжечь-то разжечь.
— Что же тогда мешает вам приготовить завтрак?

— А то, что не успеешь оглянуться, как он опять гаснет.

Аменда никогда не произносила лишнего. Она отвечала на поставленный вопрос, после чего умолкала. Однажды — я еще не успел освоиться с ее привычками — я окликнул ее сверху и спросил, знает ли она, который час. Она ответила: «Да, сэр» — и исчезла на кухне. Секунд через тридцать я окликнул ее снова.

— Аменда, — произнес я с укором, — я минут десять назад спросил у вас, который час.

— Правда? — отозвалась она любезным тоном. — Прошу прощения. Мне казалось, вы спросили, знаю ли я, который час. Сейчас половина пятого.

Этельберта осведомила — я возвращаюсь к рассказу о разведении огня, — пыталась ли Аменда разжечь его снова.

— Разумеется, мэм, — ответила девушка. — Пыталась четыре раза. — А потом она жизнера-

достно добавила: — Если хотите, мэм, я попробую еще раз.

Из всех девушек, когда-либо состоявших у нас в услужении, Аменда была самой покладистой.

Этельберта заявила, что лично спустится на кухню и разведет огонь, Аменде же велела следовать за собою и наблюдать. Меня тоже заинтересовал этот эксперимент, поэтому на кухню последовал и я. Этельберта подоткнула юбку и взялась за дело. Мы с Амендой стояли рядом и глазели.

Спустя полчаса Этельберта сдалась — разгоряченная, перепачканная и несколько раздосадованная. Вид у очага был столь же холодный и циничный, как когда он приветствовал нас при входе.

Тогда попробовал я. Честно сделал все, что мог. Всеми силами души и тела стремился преуспеть. С одной стороны, хотелось позавтракать. С другой — хотелось потом сказать, что я справился. Честно говоря, развести огонь в той конфигурации, в какой это предлагал сделать Макшонесси, было бы подвигом и предметом особой гордости. Разжечь огонь и в обычных-то условиях дело нелегкое; а при отягчающих обстоятельствах в форме правил Макшонесси это, так мне казалось, станет достижением, на которое будет приятно оглядываться в грядущие годы. Я уже воображал себе, как, если преуспею, пойду похваляться этим перед соседями.